

ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ "ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА"

В восьмой главе "Евгения Онегина" явственно просматривается та же, что и в предыдущих главах, близость автора и героя, а одновременно – их "неслиянность", психологическая дистанция между ними. Душа Онегина здесь названа "холодной и ленивой", что напоминает слова о герое романа из первой главы ("рано чувства в нем остыли", "к жизни вовсе охладел"). Вместе с тем последняя глава романа гораздо более, чем предыдущие, выявляет душевную встревоженность Онегина, который, подобно Пушкину на рубеже 1820–1830г г., предается воспоминаниям, подводит итоги прожитому и пережитому. В восьмой главе неоднократно говорится о мучениях совести героя, связанных с убийством Ленского. Эта глава – своего рода эпилог дуэльной истории, развернутой в пятой и шестой главах. Коротко рассказав об Онегине в промежутке между поединком с Ленским и путешествием, автор замечает, что "окровавленная тень Ему являлась каждый день". О злобешей роли поединка с другом в судьбе Онегина свидетельствуют и его собственные слова из письма Татьяне: "Еще одно нас разлучило... Несчастной жертвой Ленский пал... Ото всего, что сердцу мило, Тогда я сердце оторвал". Позднее, уединившись в кабинете, в воображении "видит он: на талом снеге, Как будто спящий на ночлеге, Недвижим юноша лежит, И слышит голос: что ж? убит". Звучащий в приведенных строках мотив неискупимой вины, поданной по-пушкински ненавязчиво, кратко, "нерефлексивно", предваряет проблематику "Преступления и наказания". Значимо в "Онегине" восьмой главы и то, что в итоге путешествия (отрывки из которого завершают текст романа) он обогатился жизненным опытом: многое увидел, почувствовал, понял в окружающей его реальности.

Со всем этим, нам кажется, правомерно связать присутствующую (и даже преобладающую) в заключительной главе смысловую тенденцию к реабилитации Онегина, о которой вслед за Белинским говорят современные специалисты¹. Уже в ее первых строках "ставятся точки над *i*" в освещении противоречий героя романа с окружающей его средой: не озабоченный преуспеянием и карьерой, обладающий чувством соб-

ственной независимости, Онегину безнадежно одинок ("Для всех он кажется чужим"). И Пушкину он несравненно ближе, чем те, "Кто странным сном не предавался, Кто светской черни не чуждался". Поэт решительно берет под защиту своего неординарного и неприкаянного героя ("Зачем же так неблагосклонно Вы отзываетесь о нем?"). И Онегину по ходу действия восьмой главы все более оправдывает благосклонность к нему автора.

Последняя глава "Евгения Онегина" – это в своем роде целый роман. Здесь дается история взаимоотношений Онегина и Татьяны на протяжении нескольких месяцев. В сознании и поведении Евгения происходят серьезные изменения и сдвиги. И позицию автора по отношению к герою² целесообразно рассматривать с учетом эволюции Онегина не только в масштабах всего романа (что обычно и делают литературоведы), но также и в рамках восьмой главы.

Встретив Татьяну в Петербурге, Онегину восхищен ею как светской дамой, "равнодушною княгиней", "неприступною богиней Роскошной, царственной Невы", но не "девочкой несмелой, Влюбленною, бедною и простой", воспоминание о которой для него не стало поэтическим. Прежние-онегинские интонации чувствуются и в следующей строфе: "Кто б смел искать девчонки нежной В сей величавой, в сей небрежной Законодательнице зал? И он ей сердце воллювал!" Онегин, как видно, недоумевает и сокрушается, что когда-то не сумел угадать в нежной девчонке будущую богиню певских берегов. Пушкинская ирония чувствуется и в продолжении процитированной строфы, которое отмечено буколической риторикой и достойно Ленского, а если и Пушкина, то лишь лицедейской и первой послелицедейской поры: "Об нем она во мраке ночи, Пока Морфей не прилетит, Бывало, девственно грустит, К луне подымлет томны очи...". Напомним, это – стиль мышления того самого Онегина, который когда-то говорил о глупой луне "на этом глупом небо-склоне".

Ироническая дистанция между героем и автором видится и в иных подробностях начала восьмой главы. Вряд ли присоединяется Пушкин к мысленным упрекам Онегина по адресу Татьяны, которые лука о поданы в виде повествовательной, якобы авторской речи. В строфе ХХ1 читаем: "Бледнеть Онегин начинает: Ей иль не видно, иль не жаль". В следующей строфе – о том же: "... он заране Писать ко прадедам готов О скорой встрече; а Татьяна И дела нет (их пол таков)". В

неповторимо-пушкинской интонации, непринужденно-свободной и открытой различным толкованиям, переданы и драматическая серьезность чувства, охватившего героя, и его прежняя душевная односторонность: свое "спасение" Онегин вменяет Татьяне чуть ли не в обязанность, мысленно упрекая ее в эгоизме.

Горькой (хотя одновременно и сочувственной) иронией исполнены строки, вводящие в текст романа письмо Онегина, где говорится о его упрямстве и беспомощности: "...отстать не хочет, Еще надеется, хлопчет; Смелей здорового, больной, Княгине слабою рукой Он пишет страстное посланье". (В черновом варианте строфы было еще резче: "Любовник хилый и больной" – У1, 632). Здесь – ряд печальных и вместе с тем забавных оксюморонов (больной, но смелей здорового; послание страстное, но пишется рукой слабою). К тому же лексика этих стихов (упрямство, хлопоты, нежелание отстать) отнюдь не поэтизирует живого, страстного чувства: Онегин предстает как человек утомленный, утративший свою былую уверенность в достижимости "блистательных побед", но не освободившийся от эгоистического своеволия. Подобный же смысл имеет строфа ХХП: в первой встрече с замужней Татьяной "Слова нейдут Из уст Онегина. Угрюмый, Неловкий, он едва-едва Ей отвечает". Каким-то Дон-Жуаном не к месту и не ко времени, из последних сил пытающимся добиться желаемого, вызывающим сострадание, но в какой-то степени и смешным вырисовывается здесь герой романа. Эта скорбно-ироническая пушкинская мысль о ситуации Онегина восьмой главы выражена в строфе ХХIХ, где просто и прямо говорится, что "...в возраст поздний и бесплодный, На повороте наших лет, Печален страсти мертвый след", а также в следующей строфе, начинающейся словами: "Сомненья нет: увы! Евгений В Татьяну, как дитя, влюблен". (Заметим, что апологетами пушкинского героя как передового человека эпохи восьмая глава и поныне читается, будто Пушкин написал здесь не "увы!", а "ура!"). Так предвдвряется письмо Онегина, настраивая читателя на его серьезное и одновременно критическое восприятие.

Обращение к Татьяне с письмом – это не только всплеск чувства Онегина, но и продуманная, настойчиво осуществляемая "акция": послание рассчитано на ответ, не получив которого, Евгений пишет во второй, а затем и в третий раз. Сама по себе неединственность включенного в восьмую главу пись-

ма налагает свой отпечаток на его восприятие чутким читателем.

Текст письма в смысловом, эмоциональном и стилистическом отношении разнопланов. В нем есть место как языку неподдельного, глубокого чувства, так и риторико-поэтическим штампам, характерным для эпистолярного жанра.

В основе онегинского послания – скорбно окрашенное самораскрытие человека, в прошлом которого имелись серьезные заблуждения. И это роднит его с покаянными лирическими произведениями самого Пушкина на рубеже 1820–1830 гг.: герой романа с горечью вспоминает о своем былом стремлении сберечь “постылую свободу”, о смерти Ленского и своей отчужденности от окружающих, которые могли бы стать близкими.

В любовных признаниях героя сказываются искренность и серьезность чувства, а нередко присутствует и поэтическая безыскусственность его выражения: “Когда б вы знали, как ужасно Томиться жаждою любви, Пытать – и разумом всечасно Смирять волнение в крови...”. Здесь явственно звучит голос неподдельной страсти и угадывается своего рода жест отчаяния (“...знать, сердечное страданье Уже пришло ему не в мочь”). Здесь психологическая дистанция “автор – герой” неощутима, она практически отсутствует.

Но порой по воле склонного к иронии Пушкина онегинские признания “выдают” и его непоэтическую настроенность: либо, сугубыми прозаизмами (“для вас Ташусь повсюду наудачу”), либо гораздо чаще, напротив, выпяченно-риторическими штампами, характерными для любовных объяснений светского человека. “Эти изыски французского стиля, – характеризовал речевую фактуру начала онегинского письма Г.А.Гуковский, – это тон флирта, салонного жеманства и галантности, это то любовное лицемерие в духе Вальмона, которое было так свойственно Онегину первой главы и которое он применяет по непреодоленной привычке”³. “Русско-французский” стиль написанного по-русски письма Онегина отчужден от авторского речевого сознания и поведения. В пушкинской лирике такой стиль непредставим. Как справедливо заметила Е.Е.Маймина, Пушкин “возражал... против необдуманного смешения французской и русской речи”⁴ и в эпистолярном жанре. “Как тебе не стыдно, мой милый, – обращался он к брату, – писать полурусское, полуфранцузское письмо, ты не московская кузина” (XIII, 35)⁵. Что-то от подобной насмешки автора угадывается

и в образе онегинского письма. Язык живого чувства здесь порой сосуществует с языком любовной светской игры в гибельно-благую страсть: "Внимать вам долго, понимать Душой все ваше совершенство, Пред вами в муках замирать, Бледнеть и гаснуть... вот блаженство..." Блаженство "бледнеть и гаснуть" выглядит едва ли не пародийным: ведь по логике письма герой романа в момент его написания должен находиться на верху блаженства!

Обозначим еще один пласт письма, обнаруживающий дистанцию "автор-герой". Татьяна мыслится Онегиным гордо презрительной к его страданиям и склонной к недобрым насмешкам. Напомним: "Какое горькое презренье Ваш гордый взор изобразит!.. Какому злобному веселью, Быть может, повод подаю!" Онегинский "портрет" Татьяны как женщины, расположенной к мстительности, ее ни в коей мере не характеризует, но еще раз выявляет в авторе письма светски-ограниченного человека, духовно подвластного тем стереотипам человеческих отношений, которые со временем все решительнее отвергались Пушкиным.

Так обнаруживается в тексте письма духовная непросветленность сильного и искреннего чувства Онегина. Вряд ли поэтому справедливы суждения о том, что написание письма Татьяне знаменует "высший момент жизни героя, когда с наибольшей полнотой раскрылись все силы его души"⁶ и что письмо это — вне авторской иронии⁷.

По тексту восьмой главы (мы имеем в виду как послание Онегина, так и предшествующие ему строфы) расставлены едва приметные знаки того, что к любви Онегина, серьезной и искренней, примешивается тщеславное стремление: в свободно-небрежных пушкинских фразах порой чувствуется, что бурный интерес Евгения к Татьяне связан с ее светским величием, с ее положением и репутацией в обществе. Позднее об этом будут свидетельствовать суровые слова героини романа: "Как с вашим сердцем и умом Быть чувства мелкого рабом?" Вряд ли Пушкин считает Татьяну в этом вовсе неправой. Применительно к первой половине завершающей главы романа совершенно справедлива мысль, что "переход к великой любви совершается в Онегине через "досаду и суетность"⁸.

Сказанное побуждает интерпретировать схождения между посланиями Онегина Татьяне и самого Пушкина к К.Собаньской несколько иначе, чем это сделала в своей известной статье А.А.Ахматова. Из сравнительного анализа любовных писем

Пушкина и Онегина она извлекла совершенно справедливый вывод об автобиографическом характере последнего. Но общее ее заключение ("В 8-ой главе между Пушкиным и Онегиным можно поставить знак равенства"⁹) не представляется убедительным. Это суждение неточно хотя бы потому, что игнорирует различие между автором как биографической личностью и творцом художественного произведения; к тому же в нем не учтена напряженная и стремительная духовная эволюция Пушкина на рубеже 1820–1830 гг. Настроения, которые запечатлены в письмах к К.Собаньской (февраль 1830 г.), решительно не согласуются с тем духовно-биографическим опытом, которым поэт обогатился в Болдине (в частности, как автор восьмой главы) и к концу 1831 г., когда (5 октября) было сочинено письмо Онегина. Французского толка светский этикет любовного послания в пору создания им онегинского письма являлся для Пушкина уже чем-то изжитым, ушедшим в прошлое¹⁰. Стил ь общения, ныне им культивируемый в семье, был совсем иным, полемически "антисветским". В письмах к жене (первые из них относятся к декабрю 1831 г., т.е. отделены от момента сочинения онегинского письма лишь двумя месяцами), как заметил Ю.М.Лотман, Пушкин "не только подчеркнуто прост — он простонародно грубоват, называя все вещи их простыми наименованиями": "напряженность страсти теперь не исключала, а подразумевала простоту и покой домашней жизни"¹¹. И "занимствования" из письма Пушкина к Собаньской в тексте восьмой главы не только не знаменуют тождества автора романа и его центрального героя, но, напротив, еще раз свидетельствуют об их серьезной "разности". Отметим также, что привычные формы риторически-эффектного любовного послания были вполне естественны в пушкинском письме, адресованном существу "жестокому и бурному", женщине, которой поэт был обязан "опытом ужасным"¹², но они воспринимаются как неуместные в онегинском послании к Татьяне с ее безыскусственной простотой, чистотой и цельностью. Вряд ли прав Ю.М.Лотман, утверждая, будто "сфера выражения" ("расхожие формулы", восходящие "к устойчивым клише французского любовного речевого ритуала") "в силу своей условности не оказывает влияния на содержание" онегинского письма¹³. На рубеже 1820–1830 гг. для Пушкина (особенно в 1831 г.) светские и "несветские", аристократически изысканные и безыскусственно-простые формы поведения (в том числе, конечно,

и речевого) были сферой напряженного и направленного выбора, духовно и биографически ответственного, максимально серьезного¹⁴, что явствует и из текста восьмой главы. На вечере в доме Татьяны (вернее, князя N) "легкий вздор Сверкал без глупого жеманства", в разговорах был ощутим "разумный толк без пошлых тем", привлекающий "свободной живостью своей". Эта подлинная, принимаемая и защищаемая Пушкиным светскость отмечена простотой и безыскусственностью форм поведения, о чем с большей, чем в окончательном тексте, прямотой, говорилось в белой рукописи: в "истинно дворянской" "гостиной светской и свободной Был принят слог простонародный"; здесь "чуждались шегольства речей" (У1, 626-627). От такого рода светскости, истинной в глазах Пушкина, весьма далек Онегин как автор письма, порой отмеченного шегольством и жеманством.

Сочинение Онегиным любовных писем не завершает его эволюции в романе. Татьяна как "простая дева, С мечтами, сердцем прежних дней" в его сознании еще не воскресла. Лишь последующее отречение героя от света ознаменовалось серьезными переменами в его душе. Предметом упорных дум Онегина (пусть смутных) стали ныне "тайные преданья Сердечной, темной старины, Ни с чем не связанные сны, Угрозы, толки, предсказанья, Иль длинной сказки вздор живой, Иль письма девы молодой". Согласимся с Е.Н.Купреяновой: "Трудно не увидеть в смутных видениях души влюбленного Онегина отблеск народно-поэтической образности девического и пророческого сна Татьяны"¹⁵. И, добавим, не только сна, но и всей атмосферы усадебных, сельских глав романа. Воображение рисует перед Онегиным (строфа XXXУП, отсутствующая в болдинской белой рукописи и сочиненная в октябре 1831 г. одновременно с письмом Онегина) то скорбные, будоражащие совесть картины собственного прошлого, "То сельский дом - и у окна Сидит она... и все она!.."

Приведенные строки обнаруживают серьезнейший сдвиг в душе героя, намечая своего рода психологическую перипетию романа, быть может важнейшую в составе его внутреннего действия. С этого момента (вопреки тому, что порой говорят о нем как о герое восьмой главы) Евгений уже не выглядит "безнадежным" эгоистом, неспособным "взглянуть в душу другого человека"¹⁶. Как верно заметил С.А.Фомичев, в XXУ1-XXУШ строфах, особенно в строфе XXУП, написанной

в 1831 г., "Онегин уже далек от светской суэты"¹⁷. Именно здесь, в пору второго отречения от света, ему (как Татьяне в усадебном кабинете Евгения) "открылся мир иной", мир обычной жизни с ее поэзией, существующий независимо от интересов света, жажды самоутверждения, книжной образованности.

Перечень прочитанного "без разбора" не только не возвышал героя романа в глазах людей пушкинского круга, но, напротив, его дискредитировал. Сославшись на суждение В.К.Кюхельбекера о "шутовской шутке" в XXXV строфе, Ю.М.Лотман справедливо отметил, что список книг, прочитанных Евгением, в большинстве безнадежно устарелых, "поражал современников именно бессистемностью и странностью"¹⁸. Снизив своего героя как притязającego на европейскую образованность и причастность к умственной жизни своего времени, Пушкин вместе с тем наделил Онегина в этом эпизоде романа собственными умонастроениями, которые дали о себе знать уже в 1824 г. (в строфе XIII третьей главы романа поэт обещает читателю пересказать "Преданья русского семейства, Любви пленительные сны, Да нравы нашей старины"; восторженно сообщает брату, что, слушая сказки, вознаграждает "недостатки проклятого своего воспитания" - XIII, 121) и в гораздо большей мере - после михайловской ссылки. Напомню письмо П.А.Вяземскому от 9 ноября 1826 г. (теплая встреча дворни и няни "приятнее шекотит сердце, чем слава, наслаждения самолюбия, рассеянности и т.п." - XIII, 304), стихотворный набросок 1830 г. "Два чувства дивно близки нам", суждение, что счастье можно обрести лишь на общих всем, привычных путях (письмо Н.И.Крыцкову от 10 февраля 1831 г. - XIУ, 151), слова об обители "трудоу и чистых нег" из стихотворения "Пора, мой друг, пора".

Строфы XXXV1-XXXVШ, очень важные в составе романа как художественного целого, скупы, но недвусмысленно свидетельствуют, что Онегин идет, в сущности, по пушкинскому духовному пути. Он начинает преодолевать свою "байроническую" отчужденность от обычной жизни, отходит от привычного для его эпохи воззрения, которое сформулировано хрестоматийно известными словами первой главы: "Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей"¹⁹. Соответственно этому мировоззренческому сдвигу меняется образ Татьяны в сознании Онегина, что знаменует как бы второе рождение его чувства. Ныне Евгений открывает для себя именно то, что составляет истинное, сокровенное существо Татьяны, которое позднее выявится

в ее словах о готовности отдать все "за полку книг, за дикий сад", за "смирненное кладбище" с могилой няни. Отметим и прямое текстуальное сходство (которому соответствует смысловое тождество) приведенных слов о мечтаниях Онегина с суждением повествователя о героине романа в пятой главе: "Та была верила преданьям Простонародной старины, И снам, и карточным гаданьям, И предсказаниям луны".

Душевная узость Онегина, его предрассудки и заблуждения, его роковая, отмеченная гордыней отчужденность от всего и вся ныне (только ныне, но еще не в пору написания писем) отодвигаются в прошлое. Создается впечатление, что они преодолены (в полной ли мере – нам, читателям, по воле Пушкина знать не дано) новым или, по крайней мере, обновленным чувством к Татьяне, которое теперь "вобрало" в себя живое разумение простых и высоких истин.

Уединенные думы Онегина подготавливают заключительный, самый горестный и в то же время просветляющий эпизод пушкинского романа. На то свидание с Татьяной, которым завершен роман в стихах, Онегин пришел "на мертвеца похожий", но обогативший духовно, с новыми для него умонастроениями (хотя и здесь Пушкин его называет "мой неисправленный чудак").

В заключительной сцене ошутимо меняются формы поведения Онегина. На смену великосветским эффектам, любовному "многоречию", обильным действиям, отмеченным поспешностью ("скорей Мараэт он ответ учтивый", "Он полетел, он у крыльца", "примчался к ней, к своей Татьяне")²⁰ приходит безыскусственно-простое молчание. Выслеживающе-пристальный взгляд светски искушенного Онегина начала восьмой главы ("неотвязчивый лорнет Он обращает поминутно" на Татьяну; надеясь увидеть в ней признаки волнения, герой "глядел нелзя прилежней", а после того, как отослал письма, встретив ее, "вперил Онегин зоркий взгляд", ожидая увидеть на лице Татьяны "смятенье, состраданье", "пятна слез") сменяется "жестом", выражающим серьезное и скорбное чувство, свободное от намерений преследовать какие-либо цели: герой падает к ногам Татьяны и целует ей руку; молча, не стремясь что-либо объяснить, ее выслушивает, а затем, когда она уходит, не предпринимает каких-либо попыток ее остановить (по контрасту вспомним строки известного прощального стихотворения, тоже болдинского: "Мои хладекщие руки Тебя старались удержать").

Не произнесши ни слова, неподвижный, Онегин напоминает вернувшегося блудного сына²¹. В последнем эпизоде восьмой главы чувствуется, что быстрая светская суетность Онегина ныне преодолена, что над этой суетностью взяла верх его проникновенно-понимающая любовь к Татьяне. Но пушкинский герой – во власти душевной тревоги, он по-прежнему обуравем страстью, которая его измучила (“...больной, угасший взор, Молящий вид, немой укор...”).

Заключительный эпизод романа – своего рода элегическая монодрама (“партию” которой ведет Татьяна), начатая и завершенная авторскими ремарками. Мотивировки поведения героев более чем скупы, они практически отсутствуют. И тем не менее психологическая атмосфера происходящего ясна читателю. Объяснение героя и героини – это отнюдь не любовный поединок, которому подобает завершиться чьей-то блистательной победой и чьим-то позорным поражением (слово “Позор!” в завершающей реплике Онегина оперы П.И.Чайковского не имеет никакого касательства к пушкинскому герою в финале романа)²². Эта встреча, предвещающая разлуку навсегда, отмечена своего рода равенством Онегина и Татьяны в общей для них ситуации скорби о несбывшемся и непоправимом; здесь угадываются чувства покаяния, прощения, благодарности. По воле Пушкина последняя сцена как бы уводит “условных свидетелей”, коими являются читатели романа, далеко в сторону от тех морализующих вопросов, которые вслед за Белинским и Достоевским литературоведы обсуждают поныне: кто (Евгений или Татьяна) здесь прав, а кто нет; кто выше, а кто ниже²³.

Исполнено глубокого смысла само построение заключительного эпизода. Первая, большая часть пространного монолога Татьяны, составляющая суровую (если не гневную) отповедь Евгению (строфы XLIII–XLV), отмечена риторичностью и воспринимается как эффектная и громкая; вторая же (строфы XLVI–XLVII) являет собой исповедь интимно-тихую, задушевно-разговорную, которая звучит как бы в унисон молчанию Онегина, тоже исполненному скорби. По словам одного из самых чутких исследователей “Евгения Онегина”, в двух свиданиях героя и героини “более прав молчащий: он ближе к абсолютному уровню универсума”²⁴. Добавим к этому, что в финальной сцене романа в равной мере весомыми и волнующими предстают правда молчащего Онегина и правда Татьяны, бесхитростно из-

ливающей душу. Герой (по ходу действия восьмой главы) и героиня (на протяжении своего заключительного монолога), таким образом, как бы проходят один и тот же "путь" от риторической речи, волевой и целеустремленной, к глубокой, духовно ласкательной тишине: к прямому молчанию (Онегин) и к безэффективно-простому, исповедально-задушевному слову (Татьяна). Своим построением финальный "дуэт" героев романа напоминает диалог Священника и Вальсингама, завершающий последнюю из болдинских трагедий, где оба персонажа, оставив позади собственную "монологическую агрессию", приходят к молчаливому взаимопониманию и душевному единению²⁵.

Мотив молчания (или немногословия) воплощается не только в поведении персонажей, но и в повествовательной ткани восьмой главы. Завершая действие, автор прибегает к своего рода умолчанию о том, что творилось в душе героя, оставляя читателя в неведении о подробностях его внутренней жизни. Душевному состоянию Онегина, выслушавшего Татьяну, здесь посвящено всего лишь три строки ("Как будто громом поражен. В какую бурю ощущений Теперь он сердцем погружен!"). И это – после нескольких десятков стихов восьмой главы, характеризующих умственные интересы, воспоминания и думы героя в пору уединенного чтения!

Мотиву молчания в финале романа сопутствует мотив неведения (или неполного знания и понимания) героем и героиней умонастроений и переживаний друг друга. Ведь до последнего эпизода Онегин (подобно нам, читателям) не знал, что ей, как и ему, дороги усадебные, "сельские" воспоминания. Ему было неизвестно, что в Татьяне жива "простая дева, С мечтами, сердцем прежних дней" и что она по-прежнему его любит... А героине романа вообще не суждено узнать о том, что было пережито Евгением в уединенном кабинете Петербурга²⁶.

Любови Онегина и Татьяны не дано проявиться даже в простом их знании об обретенном душевном сродстве. Любовь эта, одновременно разделенная и неразделенная, взаимная и безответная, составляет бесценный дар судьбы для обоих и – обречена на полную жизненную невоплощенность. Мотив прощания и разлуки навсегда (акцентированный скорбным байроновским эпиграфом к восьмой главе) и завершает действие "Евгения Онегина".

Драма невоплощенной любви, лежащая в основе пушкинского романа в стихах, символически значима применительно к са-

мым разным культурно-художественным контекстам: и к личной судьбе Пушкина (свидетельство тому – “прощальный цикл” его лирики рубежа 1820–1830 гг.), и к художественной проблематике современной ему поэзии, в очень значительной степени – элегической, и к последующей отечественной литературной классике (вспомним, к примеру, героя “Белых ночей”, которому судьба уготовила “целую минуту блаженства”, или тургеневских Лаврецкого с Лизой, или чеховских героев с их незадачливыми личными судьбами).

Строки об Онегине, повергнутом в душевное смятение, воссоздают, конечно же, не тот любовный порыв юного сердца, который, как сказано в строфе ХХІХ, благоворен, “как бури вешние полям”. Но финальный эпизод знаменует, что душа Евгения не остыла. Возмездие к нему приходит не в облике утраты человечности, что характерно для ряда литературных произведений XIX в.²⁷, а в виде неизбежной душевной тревоги, возвращающей с окольного, неправого пути. Завершая роман, поэт наделил своего героя властью уйти от самого страшного искуса: от опасности “Ожесточиться, очерстветь, И наконец, окаменеет В мергвящем упоенье света”.

Горестное прозрение Онегина сродни психологической атмосфере других болдинских произведений. Здесь к месту вспомнить не только Вальсингама в завершающем эпизоде “Пира во время чумы”, но и Гуана, Сальери, даже Барона, а также Бурмина, Минского, Сильвио из “Повестей Белкина”. В творчестве Пушкина 1830 г. весьма настойчиво звучит мотив скорбно-напряженного осознания (или, по крайней мере, ощущения) человеком собственной односторонности, неосуществленных возможностей, заблуждений, невыполнимых утрат.

“Минуту, злую для него”, правомерно расценить как по-своему высокий момент в жизни Онегина, как возвращение к душевной цельности и высоким чувствам ранней юности, о которых неоднократно говорилось в черновиках к роману (например, ко второй главе: “...вырывались иногда Из уст его такие звуки, Такой глубокий чудный стон, Что Ленскому казался он Приметой незагихшей муки” – У1, 562), а порой – и в основном его тексте (“мечтам невольная преданность”, “страстей игру мы знали оба”, “Мне ваша искренность мила; Она в волненье привела Давно умолкнувшие чувства”)²⁸.

Пробуждение в герое новых помыслов и переживаний сопряжено со страданиями, которым не видно конца. Оно глубоко

кризисно и отнюдь не предстает как осуществившееся возрождение его души к лучшей жизни. Это – некий безусловно благой сдвиг в сознании Онегина, знаменующий возможность обновления его души и судьбы, возможность, которой, однако, скорее всего не суждено воплотиться в реальность²⁹.

Духовная судьба героя пушкинского романа, таким образом, составляет своего рода триаду: живые чувства ранней молодости – омертвление души, сопряженное с произволом эгоистических порывов и заблуждениями, – путь к возрождению. Это роднит Онегина с лирическим героем покаянных стихов Пушкина рубежа 1820–1830 гг., на первом месте среди которых “Воспоминание” с его незавершенной второй частью. Прошедший добровольное заточение в “темном углу” своего кабинета и ставший похожим на поэта (строфа XXXУШ), Онегин ныне, в финальном эпизоде романа, как никогда ранее, близок автору, точнее, автору–творцу: Пушкину, пишущему восьмую главу. Пушкину, который изведal опыт пересмотра собственного прошлого и постиг ценности “обычной” жизни, который ощутил и осознал всю безысходность собственного одиночества и убедился в необходимости молчать о задушевном и глубинном, что явствует из слов “иных уж нет, а те далече”, приписанных Саади³⁰. Пушкину, по словам которого (из той же восьмой главы), блажен тот, “кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна Бокала полного вина”. В этой новой близости героя и автора–творца сказался животворный характер горестного финала романа. “Евгений Онегин” завершен ситуацией духовного “схождения” не только героя и героини, но также героя и автора.

Духовное пробуждение пришло к Онегину как возмездие, что (как и многое другое в пушкинском романе) сближает его с Дон-Жуаном³¹. Слова “как будто громом поражен” знаменуют переключку с финальной сценой “Каменного гостя”. И “шпор незапный звон” перед появлением мужа Татьяны легко связывается в читательском сознании с гулом каменной поступи командора. Как и Гуана, возмездие настигает Онегина не тогда, когда он был своевольным эгоистом и действительно заслуживал наказания, а, напротив, когда любовь его преобразила и когда он оказался достойным лучшей участи...

Вместе с тем связь Онегина восьмой главы с Жуаном является контрастной; ни неловкости, ни утрюмства, ни любовных поражений не знали ни “допушкинские” Жуаны, ни герой “Каменного гостя”. Онегин, так сказать, поневоле изжил в себе

Дон-Жуана, став своего рода пародией на него: беспомощным, страдающим, будящим чувство жалости и взывающим к нему... Да и былая онегинская суть – это вовсе не “жуановская” безоглядно-вольная и смелая страсть, которой отнюдь не был чужд Пушкин, а, напротив, осторожное “уклонение” от любви во имя сохранения “вольности и покоя”, ради собственной свободы, которой суждено оказаться постылой. Дон-Жуану Евгений подобен лишь в ранней юности, до разочарований, о чем говорится в строфах УШ-ХП первой главы; позднее же “блистательные победы” герою надоели, а когда желанной стала любовь Татьяны, то роль обольстителя оказалась Онегину не по силам, а в последнем эпизоде, вероятно, и не по сердцу.

Как исполнитель роли Жуана, как светский человек и “игрок в жизни” Онегин потерпел жесткое поражение. “Все ставки жизни проиграл”, – сказано в черновиках восьмой главы (У1, 519). От бывшего жуановского блеска пушкинского героя (вспомним из первой главы: “среди блистательных побед”; или из конца третьей: “блистая взорами, Евгений...”; или из пятой – сон Татьяны: “Онегин, взорами сверкая”) не остается и следа, но утраченный блеск не имеет ныне для себя достойного “противовеса”: у Онегина “больной, угасший взор”. Личностью иного рода, чем Жуан, герой пушкинского романа себя не сформировал, хотя и приобщился к умонастроениям, несовместимым с эгоистическим своеволием.

Итак, последняя встреча с Татьяной для Онегина – это одновременно суровое возмездие и акт милосердия к нему судьбы. Происшедшее с ним в финальном эпизоде не подводится под какие-либо морализующие формулы и “вечные истины” (о которых иронически отзывался Пушкин в той же восьмой главе), но неоспоримо свидетельствует об абсолютной власти над человеческой жизнью “грозных вопросов морали” (А.А.Ахматова о маленьких трагедиях)³².

Завершающая сцена романа (прежде всего образ Татьяны в ней) воплощает мысль, что даже самые неблагоприятные обстоятельства (личной судьбы человека либо более общие, “надличные”) не составляют неодолимого, фатального препятствия для сохранения, восстановления, упрочения “порядка в душе” человека (пользуясь выражением М.М.Пришвина).

При этом “линии” Татьяны и Онегина завершены по-разному. Нравственная последовательность героини романа, прямота

ее жизненного пути воплощены в итоговой реплике-формуле ("...я другому отдана И буду век ему верна"). С героем романа, путь которого отмечен заблуждениями и глубокой виновностью, дело обстоит иначе: какая-либо суммирующая формула (в его речи или словах повествователя-автора) отсутствует. Реплика, завершающая роль Онегина в опере П.И.Чайковского ("Позор! Тоска! О, жалкий жребий мой!"), - совсем не в духе финала пушкинского романа. Повествователь не судит Онегина "прямым словом", не прогнозирует его судьбы (вспомним по контрасту суждения о том, кем мог бы стать Ленский), не формулирует итога, а лишь характеризует данный момент жизни героя 'ту самую "злую" минуту). И - сразу же как бы отстраняется от своего Евгения, радостно поздравляя себя и читателя с завершением романа ("Поздравим Друг друга с берегом, Ура!"). Между словами о злой для Онегина минуте и этим "Ура!" в XLIII строфе - всего четыре строки. Соседство одного (изображение мучительного момента в жизни героя) и другого (выражение радости повествователя-автора о завершении многолетнего труда) неожиданно и парадоксально, а вместе с тем оно несет на себе печать сокровенных смысловых глубин пушкинского творчества: по мысли автора, кризисные моменты в жизни людей, их непоправимые заблуждения, их жестокие поражения не исчерпывают сути бытия, и не подобает в них всецело погружаться. Здесь, как и в элегиях Пушкина, "дисгармоничное и смутное как объект изображения... точно бы вступает в область определенности и света, излучаемых синтезирующим складом пушкинского мышления"³³. Восклицание "Ура!" вслед за строками о буре мучительных ощущений Онегина (а ранее - о льющей слезы Татьяне) не воспринимается как выражение отчужденности автора от его героев, тем более равнодушия к их переживаниям и судьбам. Переданное здесь поэтом жизнерадостное чувство согласуется с общим смыслом свершившейся в сознании героев: оба они ощутили душевную близость и внутреннее родство друг другу, глубинное подобие собственных судеб. Пусть и ценой страданий, но Татьяна сохранила, а Онегин вновь обрел верность лучшему в себе.

Правоммерно отметить "катарсическую энергию"³⁴ восьмой главы "Евгения Онегина" и ее финального эпизода. Здесь, помимо самоочевидной значимости авторского лиризма, наличествует катарсис, воплощенный в образе героя романа, которому

судьба уготовила горькое и просветляющее открытие: острое осознание непререкаемых ценностей, которым он ранее был непричастен и чужд. Такой финал свободен как от утешительной дидактики, так и от трагедийной катастрофичности: он не только не исчерпывает воспроизведенного конфликта, но, напротив, его предельно обостряет. Действие романа завершается горестным прозрением героя. Скорбный и вместе с тем просветляющий финал "Евгения Онегина" властно будит в читателе ощущение неистребимости норм подлинной человечности.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См.: Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина "Евгений Онегин"; Комментарий. Л., 1980. С. 351.
- 2 Характеристику разнонаправленных суждений ученых на этот счет см. в следующих работах: Нольман М.Л. О героях и художественной концепции романа "Евгений Онегин" // Научные доклады и сообщения литературоведов Поволжья. Ульяновск, 1968; Мейлах Б.С. Статьи о "Евгении Онегине" в прошлом и настоящем // Талисман: Книга о Пушкине, М., 1975; Удодов Б.Т. Концепция личности в романе А.С.Пушкина "Евгений Онегин" // Индивидуальность писателя и литературно-общественный процесс. Воронеж, 1979.
- 3 Гуковский Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С. 263. О "французской стихии" в языке онегинского письма и его "русско-французском стиле" см. также: Виноградов В.В. Язык Пушкина. М.; Л., 1935. С. 227, 229.
- 4 Маймина Е.Е. Стилистические функции французского языка в переписке Пушкина и в его поэзии // Проблемы современного пушкиноведения. Л., 1981. С. 61.
- 5 Здесь и далее в тексте указываются том и страницы следующего издания: Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 16 т. М.; Л., 1937-1949.
- 6 Макогоненко Г.П. "Евгений Онегин" А.С.Пушкина. М., 1971. С. 191.
- 7 Гурвич И.А. Явление неопределенности в романе Пушкина "Евгений Онегин" // Проблемы литературоведения и преподавания литературы. Ташкент, 1977. Т. 196. С. 51.
- 8 Семенко И.М. Эволюция Онегина: (К спорам о пушкинском романе) // Русская литература. 1960. № 2. С. 125.
- 9 Ахматова А.А. Болдинская осень (8-я глава "Онегина") //

- Ахматова А.А. О Пушкине: Статьи и заметки. 2-е изд., доп. Горький, 1984. С. 187.
- 10 См.: Левкович Я.Л. Письма Пушкина к жене // Пушкин А.С. Письма к жене. Л., 1986. С. 100-101.
 - 11 Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин: (Биография писателя). Л., 1982. С. 203, 192.
 - 12 См.: Ахматова А.А. Указ. соч. С. 180-182.
 - 13 Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина "Евгений Онегин". С. 362.
 - 14 Яркое свидетельство тому – письма Пушкина к жене, написанные в октябре 1833 г., где он беспокоится, что изменится "милый, простой, аристократический тон" Натальи Николаевны; замечает, что кокетство ныне "не в моде и почитается признаком дурного тона" и требует от нее "холодности, благопристойности, важности" (ХУ, 89, 88, 87). "Дурной тон" – вот чего больше всего боится Пушкин", – замечает комментатор этих высказываний поэта (Левкович Я.Л. Указ. соч. С. 92).
 - 15 История русской литературы: В 4 т. Л., 1981. Т. 2: От сентиментализма к романтизму и реализму. С. 272.
 - 16 Слонимский А.Л. Мастерство Пушкина. М., 1963. С. 375.
 - 17 Фомичев С.А. Поэзия Пушкина: Творческая эволюция. Л., 1986. С. 195.
 - 18 Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина "Евгений Онегин". С. 363.
 - 19 О культурно-историческом генезисе подобных представлений см.: Рейзов Б.Г. Из комментариев к "Евгению Онегину": ("Кто жил и мыслил...") // Рейзов Б.Г. История и теория литературы. Л., 1986.
 - 20 Этой особенностью своего поведения Онегин резко противопоставит Татьяне, которой присущи скупость и незаметность движений и жестов, неторопливость и немногословность, спокойная свобода тона (даже в момент внезапного сильного волнения "В ней сохранился тот же тон, Был так же тих ее поклон"). Не случайно манеры Татьяны в XIV строфе характеризуются лишь отрицательными суждениями: "Не холодна, не говорлива", "Без притязаний на успех", "Без подражательных затей".
 - 21 О значении этого мотива в творчестве Пушкина см.: Тюпа В.И. Притча о блудном сыне в контексте "Повестей Белкина" как художественного целого // Болдинские чтения. Горький, 1983; он же. Сюжет "блудного сына" в лирике Пушкина // Болдинские чтения. Горький, 1984.

- 22 Суждение Е.Н.Куприяновой о том, что Онегин "в минуту, злую для него", предстает жалким и потерявшим свою былую "гордость и честь" (История русской литературы. Т. 2. С. 272), отвечает, нам кажется, более художественной логике оперы Чайковского с ее либретто, нежели пушкинского романа.
- 23 Порой в этой связи высказываются суждения, которые труд но не назвать антипушкинскими. Вот одно из них: "В личной судьбе Татьяны как бы воплотилась знаменитая триада самодержавие – православие – народность!.. Татьяна оказалась такой же рабой феодально-монархического общества, как ее холопка" (Антокольский П.Г. "Евгений Онегин" //Пушкин А.С. Евгений Онегин. М., 1976. С. 18). Горько сознавать, что подобная, с позволения сказать, интерпретация финала пушкинского романа пропагандируется издательством "Художественная литература" (статья Антокольского издана дважды, общим тиражом в один миллион экземпляров) и понеже не встретила отпора в печати.
- 24 Чумаков Ю.Н. "Евгений Онегин" и русский стихотворный роман. Новосибирск, 1983. С. 83.
- 25 См.: Панкратова И.Л., Хализев В.Е. Опыт прочтения "Пира во время чумы" А.С.Пушкина // Типологический анализ литературного произведения. Кемерово, 1982. С. 62-63.
- 26 Вряд ли поэтому прав С.А.Фомичев, усмотревший "пристрастную несправедливость" в упреках героини романа по адресу Евгения (Фомичев С.А. Указ. соч. С. 195). Ведь из известного Татьяне письма Онегина отнюдь не явствует, что он преодолел светскую суетность.
- 27 О типах завершения действия в реалистической литературе см.: Хализев В.Е. Функция случая в литературных сюжетах // Литературный процесс. М., 1981. С. 192-197.
- 28 В.Я.Лакшин, отметив, что в последней главе романа в стихах, как ранее в стихотворении Пушкина "Ангел", запечатлено "просветление человеческой души", убедительно выявил биографический подтекст милосердия автора к его герою, одним из прототипов которого был Александр Раевский: автор "Евгения Онегина" победил Демона-Раевского, благородно открыв в нем подземные ключи живого бытия в пору, когда тот "все ставки жизни проиграл" (пользуясь выражением из черновиков романа) (Лакшин В.Я. "Случай страшный":

(Александр Раевский в судьбе Пушкина и роман "Евгений Онегин") // Лакшин В.И. Биография книги: Статьи, исследования, эссе. М., 1979. С. 215-219.

- 29 См. об этом: Гуревич А.М. "Евгений Онегин": авторская позиция и художественный метод // Изв. АН СССР. Отделение лит. и яз. 1987. № 1. С. 17.
- 30 См.: Ветловская В.Е. "Иных уж нет, а те далече" // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1986. Т. ХП. С. 122.
- 31 О моментах общности в образах Онегина и Дон-Жуана см.: Ахматова Л.А. Указ. соч. С. 184, 191.
- 32 Там же. С. 92.
- 33 Грехнев В.А. Лирика Пушкина: О поэтике жанров. Горький, 1985. С. 146.
- 34 Максимов Д.Е. О романе-поэме Андрея Белого "Петербург": (К вопросу о катарсисе) // Максимов Д.Е. Русские поэты начала века. Л., 1986. С. 341.

Ю.М.Никишов

(Калнинский госуниверситет)

О ФИНАЛЕ "ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА"

Но только своим содержанием, но даже и творческой историей "Евгений Онегин" - феноменальное явление: обширное повествование было начато без определенного предварительного плана, на каком-то удивительном доверии к самой жизни, способной скорректировать замысел¹. В начале 1825 г., когда шла работа над четвертой главой и роман еще был далек от завершения, поэт приступил к печатанию произведения отдельными главами, что предreshало невозможность последующей существенной доработки опубликованного текста. Однако исключительно развитое в Пушкине внутреннее чувство гармонии выступало гарантией, что и постепенная кристаллизация и уточнение замысла приведут к соразмерности частей в рамках целого. Пушкин дописывал четвертую главу, когда трагически завершилось восстание декабристов.

Интересно поставить вопрос: когда же все-таки в воображении поэта в не ясно различаемой вначале дали свободного романа впервые, хотя бы и смутно, замаячил тот самый "берег", с которым в конце концов Пушкин поздравит и себя, и читателя? Как тогда этот "берег" выглядел?

Отдадим должное такому факту. Тригорский и тверской знакомый Пушкина Алексей Вульф 16 сентября 1827 г. делает в

Министерство высшего и среднего специального
образования РСФСР

Калининский государственный университет

А.С.ПУШКИН. ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА

Межвузовский тематический
сборник научных трудов

Калинин 1987